

## Владислав Попов

Родился в 1961 году в г. Архангельске. Окончил Архангельский государственный педагогический институт. Автор трех сборников стихов и двух книг прозы. Лауреат Национальной премии «Имперская культура» им. Э. Володина Союза писателей России в номинации «Проза» (2019). Живет в д. Покшеньга Пинежского района.



### А ГДЕ-ТО ПЛЫВЕТ РЫБА

**И**юль-то выдался необыкновенным. С ночи до утра все лили и лили бесконечные неторопливые дожди. Листья смородины за окном по очереди вздрагивали и, накрываясь, проливали в сумерки тонкие струйки воды. Отечные тополя глубоко дышали, роняли тяжелые капли и горько и пряно пахли набухшей, будто налаченной, корой.

Гриша не спал, а все слушал, как шуршит за стеною дождь, как всхлипывает в переполненной бочке. Как вода, накопившись в продавленном желобе, звонко проливается в подставленные железной ведра. Сквозь оконный проем, заколоченный досками, лился в щели тихий и прохладный свет июльской ночи. Комары звенели за шевелящейся марлей. Он вылезал из своего угла, где спал, откидывал марлевый полог. Стараясь не греметь половицами недостроенной горенки, выходил на крыльцо, садился на верхнюю ступеньку. Капли хохлились над головой и часто и быстро срывались с навеса вниз, лопались и обдавали теплой водяной пылью. Гриша закуривал, почти не пряча в ладони пламя наклоненной

спички, улыбаясь, тянул в себя горький дым «Примы». Улица то-нула в дожде, и дальние дома только угадывались, проступали, как тени, в дождливых сумерках. Двор светился сырой рогожей. Комары липли к спине и кололи. Гриша передергивал плечами и ежился, пускал дым себе за спину. И так почти каждую ночь.

Нынче, осторожно притворив за собой дверь, вышел Миша, брат жены, сел на лавку.

— Дождь-то какой идет! Река еще прибудет.

— Спят наши? — спросил, кивнув, Гриша.

— Спят.

— А ты чего?

— Душно. Как они и спят? От печи так и пышет.

— Сам шанег захотел! А то иди ко мне в горенку спать — там прохладно. Я от комаров марлю повесил.

Дождь припустил, зашумел, хотя небо над деревней будто раз-дернуло, высветлило мягкой ямочкой, и по крыше баньки, напро-тив, так и побежали наискось длинные шерстистые поземки. Гри-ша быстро подобрал ноги, а потом легко впрыгнул на середину крылечка и рассмеялся.

— Испугался? — спросил Миша.

— Да вот и сигарета вымокла, — виновато улыбнулся Гриша и тоже облокотился на загородку. Он чувствовал рядом теплое плечо деверя, и хорошо было вот так вот стоять и смотреть вдво-ем на дождь, на пустую конюшню, на просевший зарод с сияю-щим овершьем.

— Прибудет река-то, опять крючки травой забьет. Думаешь, поймаем стерлядь?

— А куда она денется? — беззаботно отмахнулся Гриша. — Ведь где-то она есть! Поймаем!

Он улыбнулся: ему хорошо и приятно было заглядывать в лицо Миши, широкое, спокойное, раскосое. Миша все знал про реку и про рыбу. И Гриша завидовал и восхищался, почему он не знает того, что давно ведомо Мише.

К утру дождь снова, как и в другие дни, перестал. Буд-то и не бывало, но повсюду, из каждой лужи, из каждой боч-ки или ведра, смотрело гладкое синее небо. Листья смороди-ны еще подрагивали. С крыш густо стекал на землю туман.

Дымился зарод. Дымилась паром конюшня и откликалась из своей вынужденной пустоты печальным эхом падающих капель. Гриша заглянул внутрь, в окно, оглядел пустые стойла, втянул в себя кислый запах, пошарил в простенке и снял с крюка старые вожжи.

У колодца поджидал Миша.

— Нашел?

— А как же! Где мама Катя сказала, там и висли.

Гриша присел, ловко привязал конец вожжей к дужке ведра и заглянул в черное нутро колодца, будто приценивался. Потом перевернул ведро и резко метнул вниз. Ведро ударилось о воду, широко зевнуло и тут же пошло ко дну. Миша перехватил вожжи и, быстро перебирая руками, стал вытаскивать. Ведро тяжело и неровно раскачивалось на вожжах, вертелось и билось о стенку сруба, выплескивая шелестящую воду.

— У нас на Пинежье ведро к шесту крепят. Шестом так сподручнее вытаскивать, и зачерпнешь как надо, а тут — ведром швыряться! — заметил Гриша.

— Так сделай!

— И сделаю, надоело так позориться!

— Вот сделаешь, — сказал Миша, — где оставишь? Здесь? Так украдут ведь. У них каждый со своим ведром на колодец ходит. Мама Катя вот веревку с ведром оставила, и — что? Ни веревки, ни ведра.

Они споро начерпали полный бидон, погрузили на тележку, и Миша потащил, раздвигая плечами сырую малину. Гриша нес ведра. Тележка по-птичьи резко звякала, тянула за собой вязель. Сырая тяжелая малина просыпала капли на руки, в ведра, за шиворот. В резиновых калошах хлюпала теплая вода.

Дома Мишина жена, Шура, сказала:

— Ой, мальчики, зря вы на речку пойдете, все равно ничего не поймаете, лучше бабе Федоре улицу окосите. Миша, не ходи куда!

— Пускай идут! — возразила Гришина жена. — А вдруг клюнет чего?

— Чего там клюнет? Месяц, как на работу, ходят, а все пусто. Одну траву таскают!

— Ну, чего ты, Шура! Вчера ершик был! — будто обижаясь, сказал Миша. — Будет тебе рыба. Я вот как чувствую, что сегодня непременно клюнет! Вот чувство такое есть!

— У тебя уже неделю такое чувство! Вы хоть воды-то натаскали?

— Натаскали!— заверил Миша. — Гриша так ведро научился швырять! Как бросит, так сразу и наполнится.

— Правда, — согласился Гриша, — у нас такой подряд: я бросаю — Миша вытаскивает.

— Вы мужиков-то хоть чаем напоите, балаболки! — сказала мама Катя, заходя в избу. — Напорозно нечего на речку идти.

— Мам, да большие они, не маленькие, захотят, сами возьмут, — ответила Гришина Таня. — Вон пусть молоко с шаньгами трескают!

— Я лучше чаю, — сказал Гриша. — Там у колодца такие малины густые, одна вода! Пока воду таскали, все насквозь промокли. Мы чаю попьем, рубашки переоденем и на речку, вдруг не обманет?

— Вот молодец! — засмеялся довольный Миша. — Ты один меня поддерживаешь да мама Катя!

— А я — что, не считаюсь? — обиделась Таня. — Я вас тоже поддерживаю, это Шура все воду мутит!

— Таня, — стеклышки Шуриных очков сердито заблестели, — я вот не понимаю, чего без толку-то ходить? Кто рыбу-то теперь ловит при такой воде? Трава одна! Вон Витька Опокин все дома сидит, печку собрался новую ладить. А у наших мужиков? Работы, что ли, никакой нет дома? Улицу окосить не надо у бабы Федоры? Печку в бане поправить? А у них только рыбалка на уме. Час даю тебе, Миша, продольники проверите и — домой!

— А мы лучше у бабы Федоры чаю попьем! — заявил Гриша. — Все равно по дороге! И улицу поглядим, скосить чего надо. Вроде недавно косили? Что же, сноваросло?

— А и вправду пойдем, — обрадовался Миша, — а то напридумывают нам работы, и без рыбы останемся.

Солнце поднялось выше, но длинные, темные от сырости тени все еще перечеркивали дорогу. Туман исчез, пахло крапивой и терпким смородиновым листом. И пересекая длинные тени,

Гриша пересекал запахи. Вот тут — сладкий запах подвяленной, вчера только скошенной травы, а вот густое земляное тепло перетекло улицу, затопило пригорок и встало пробкой в воротах, а за ним, тут же, — полоска острой тополиной прохлады, в рукав залетит и холодит между лопаток. Еще шаг — и вот уже ива-белотальница, мать-и-мачеха, это с реки донесло, как не растерялось-то по пути, не развеялось? И Миша-то тоже почувствовал, вон, как глаза заискрились!

Песчаная дорога поворачивала направо, потом налево, пересекая скошенную полоску луга и упираясь в высокие тополя, подбиралась к дому бабы Федоры. Дома здесь, обшитые вагонкой, зеленые, красные, желтые, светились утренним солнцем. И только дом бабы Федоры, срубленный в лапу из толстых бревен, отсвечивал тусклым, состарившимся серебром. Дымок вился над трубой, лип к непросохшему тесу, стекал по дороженным доскам. И опухло тотчас печным, хлебным. И мох, как пробившаяся щетина, серебрился на досках.

Баба Федора высунулась на крылечко, обрадела, потащила в избу. Жарко в избе, душно, хоть и марля на окне трепыхается. Печка жаром окатывает. В баночке железной из-под селедки обгоревшее помело горчит. Гарью тихонечко несет по полу. Сахар оплавленный, как скорлупка, хрустит на зубах.

— Ешьте, ешьте,— говорила бабушка Федора, придвигая блюдо, — ваши-то долго спят, а я уж живу, шанег напекла, плюшек...

Села напротив, заулыбалась серыми, выцветшими, как старенький ситец, глазами, крестик тоненький, как листик, на груди светится. Тоненький, даже буковок не прочитать. Прядка седенькая выбилась из-под платочка, на бровь свесилась. Каждая складочка, каждая мягкая морщиночка на лице выпятилась.

— Я уж напекла, я уж настаралась, как думала, что в гости придут!

— А сама что к нам не идешь? — спросил Миша.

— Да я Кати не люблю. Вы лучше ко мне! Мишенька да Гришенька, мне бы травки покосить. Вон у дороги какая вымахала, дороги не видно. Скосите дак на ту сторону сгрудите — мне сена такого не надо, пыль одна да горечь. Гришенька, — глаза у бабы Федоры брызнули жалобой, — ты шанежки-то кушай, кушай,

родной, только у меня вина-то никакого нету, не запаслась, парнички. Есть настоечка на корешках. Я в лес за корешками ходила давеча, луна была полная. Еле доползла, еле наковыряла — медведя боялась, не настоялась еще, дак я вам пока не дам. Я настоечку-то эту в колени да в руки втираю. Как вотру, так и сплю спокойно, даже котейку не слышу. Да он у меня не проказливый, до утра терпит. Миша, помнишь, я к вам на месяц приезжала, так котейку-то в избе оставила, забыла. Он у меня один голоднехонек жил, не помер. Чего и ел? Мышей, поди? Возвернулась, а он тощей, кожа да кости. Сидит на печи, плачет. Тут и я с ним заплакала. Оба друг над другом плачем. В долгу я перед котейком-то, жалею его. Он у меня с утра тоже шанежку съел. Жалобный. Катерина молока принесла, так я ему в черепушку-то улила. Нечем вас за работу угостить, нету вина. Улицу-то скосите?

— Да нам и шаньги хороши, — засмеялся Гриша. — А траву-то мы и так смахнем. Потянулся к самовару, отвернул краник и добавил себе и Мише.

Рубаха на груди вся взмокла. Длинные полосы света порывисто вздрагивали по полу, и радостно и весело было сидеть на крашеной пристенной лавке, взглядывать на бабу Федору, на Мишу.

— Я в детстве такая леснуха была, — рассказывала баба Федора, — неумеха то есть. Косить совсем не могла: где траву увалю, где землю вырву. Беда! Мне тятя тогда носок косы и загнул, вот дело-то у меня и пошло... — Глянула на Гришу и рассмеялась: — Крошек-то, крошек у тебя, хоть кур корми!

И шесток закопченный, и чугулки, сковороднички, тряпочки саженые, ворох лучин, перевязанных яркой красной опояской, котейко жалобный, шалюшки на гвоздике — все-все представлялось сейчас Грише значительным, важным, исполненным какого-то еще не осознанного им смысла. И еще показалось Грише, что он будет помнить это праздничное солнце долго-долго и, может быть, всю жизнь, а почему — неизвестно. Просто хорошо и свободно. Просто вот как жить хочется!

Баба Федора разгладила сломанный краешек клеенки, потупилась, а потом сказала, будто стесняясь:

— А я, Мишенька, в город нынче не поеду, мне виденье было, в другую деревню я соберусь...

— В какую еще деревню?

— В Могилевскую. Хватит, пожила. Все было, боле и хватит!

— Ну, ты, баба Федора, даешь! Вот еще! В Могилевскую засобиралась! А кто с Женькой водиться будет?

Сломленный краешек клеенки упрямо оттопырился.

— А ты о Женьке подумала? А о нас ты подумала? Как мы без тебя? Вот шаньгами такими кто нас будет кормить? А настоечкой опохмелять? Гриша, смотри, что она задумала!

— Так ведь Шура и Катя тоже неплохо пекут, накормят...

— Накормят, да не такими!

Гриша посмотрел на бабу Федору и будто в первый раз ее увидел. Господи, светленькая какая, будто вся в свет ушла! Все личико в морщинках мяконьких, возле носа, как в горсточку, собранных. Фартучек старенький весь выцвел, даже не угадаешь, где какой цветочек был. Кушачок обдергался. И сжалось тоской сердце Гриши, а вот если не будет бабы Федоры, тогда — как же все будет? И печка без нее не такая, поди, будет. И стол другой, и буфет заветный с чашками тоже чужим представится, другим, холодным, будто из него тепло Федорино вынут. И показалось Грише, что вот не стало солнца в комнате, нет больше ярких горячих пятен. Дождь за окном серый. Дверь раскрыта. Ветер листочками календарными пошуршивает, и Шура, плача, говорит: «Баба Федора как тряпочку свою саженую на веревочку повесила, так мы ее и не убираем, пусть висит... На календарь, помню, глядела. Я спросила: “Бабушка, чего на календарь-то все глядишь?” А она мне: “Да вот, девка, гадаю, в какой день помирать буду...”»

Мотнул головой Гриша, и сразу все на место встало. Да все одно не так.

— Ты чего? — взглянул озабоченно Миша.

— Да не в себе чего-то...

— Это я виновата, Мишенька, всех вас раскривила, дура такая! Вот я сейчас... — баба Федора скоренько нырнула за дверь, взбрыкнула шкафчиком, вынесла маленькую.

— Немножко тут, оденок! Я в травки думала добавить, дак ведь ладно! Тут по рюмочке вам будет и мне на глоток! Пейте! — и рюмочки поставила, граненые, буфетные, а себе — кругленькую,

с наперсток. — И Бог тепло, и Христос тепло, и маленькая рюмочка подтяпливает!

Косилось легко. Гриша первым взял косу, размахнулся и пошел гулять. Клинышек деревянный, гладенький, так и скользил по земле, подрагивая, будто намыленный, и с шорохом, с посвистом ложилась трава, выпуская темную парную сырость. Мишка отбивал! Ишь, как оттянул лезвие! Как бритвенное, к цыганке не ходи! Прошел Гриша вдоль дороги, а потом еще два прокоса сделал без оглядки. И вот оглянулся, запарившись, весь перехваченный приятной ломотой. Баба Федора стояла на крылечке, прижимая к груди его рубаху, и на него глядела, и снова показалась ему такой же беззащитной, неловкой, как и за столом давеча.

— Гриш, тебя комары-то не заели?

— Нет, не заели!

— А то у меня одеколон «Гвоздика» есть, дай натру спину и жалить не будут!

Гриша отер косу, подошел к крылечку. Миша выглянул из сеней, шаньгу дожевывал.

— А! Теперь-то моя очередь? Ну-ка, бабушка, где твоя «Гвоздика»? — и потащил через голову потную рубаху. — Мажь, не жалей! — и подставил загорелую округлую спину.

А что Мише осталось: пройти два раза, и трава кончилась. Снес напоследок одуванчик, отмахнулся от белого пуха и улыбнулся довольно:

— Все, управлено! А наши-то переживали больше, чем мы работали!

— Мой-то Дмитрий тоже, всякий раз со двора сенокос начинал, — стала вспоминать баба Федора. — Как пойдет косить! А я вот тут на крылечке сижу, на этом самом, люблюсь, рубашечку его, как твою, Гришенька, вот так же держала. А он подойдет и смеется. И я смеюсь, а чего смеемся, и не знаем... Гриш, там у меня на божнице иконочка, маленькая, в рамочке железной, Николая Угодника, ты потом ее себе возьми, ладно? На память.

— Хорошо! — ответил Гриша. — Только бы ты ее мне сама дала, а то как я ее возьму?

— А вот сейчас и возьми!



— Да на рыбалку пойдём. Нас такая рыбина заждалась. Я вечером забегу, баба Федора!

— Вечером дак вечером. Я ведь долго живу. Ночи-то светлые, мне и не спится, всякие думушки думаю. Шанег-то у меня много осталось, и почто так много пеку? Думаю, мало затворю теста-то, а руки по памяти много всего наделают. Миш, вы вечером-то и приходите шаньги доедать. Да с собой, с собой сейчас возьмите, я какой кулечек найду!

После проводила их до изгороди и долго смотрела, как они вниз по угору скатываются. Двина вся избелилась на солнышке, высветилась, и высоко в небе, стрекоча, носились ласточки. У берега вода темная, к самой осоте подошла, и рогатины Мишины с леской уже подтоплены. Миша присел, выставил смуглые лопатки и стал возиться, леску распутывать, и говорил, улыбаясь:

— А знаешь, стерлядь какая? У нее пасти нет, у нее вместо рта трубка. Бабушка Федора не любит стерлядь, не ест ее — боится. Говорит: она чрез эту трубку у нее жизнь высосет! Ты стерлядь-то саму видел? Есть у вас на Пинеге?

— Не, я ее не видел, — признается Гриша, хотя ему не хочется признаваться, — а на Пинеге, говорят, встречается. У нас сосед, помню, сказывал, поймал, маленькую, как напильник! Так сразу и отпустил...

Миша подтянул леску и ловко и привычно стал срывать насевшую на нее траву.

— На этой ничего нет. Сразу почувствуешь, если заводит. А отпустил — правильно сделал. Какой от нее толк? А рыба-то наша! Ты знаешь, Гриша, какая она древняя! Подумаешь, жутко становится! Знаешь? — Миша поднялся, мокрые руки отер о штанины. Его глаза восторженно и радостно засияли, будто он сам это только что узнал. — Она ведь еще во время динозавров плавала. Представляешь, какая она древняя! Всех пережила. У нее костей нет, одни хрящики, внутри, как стерженек такой! Ты увидишь! Людей не было, а она уже была. Ты представляешь!

Миша обернулся:

— А вон и Витька Опокин идет! Вить, а мы думали ты печку ложишь!

— Сложишь тут, — сказал, подходя, Опокин. — Мне бы листик надо. Куда свой заложил, не знаю. Всегда так, вроде близко положишь, а приспичит, и найти не можешь. Что за притча? У тебя есть?

— Да есть где-то! Надо у Шуры спросить!

— Я тебе свой отдам, когда найду, новенький. Куда заложил, не знаю... Я лодку пришел смотреть. Думал, залило! На берег вчера круто вытащил. А вы все стерлядку ловите? Не поймать! Не та погода. Вода-то нынче как прет, как весной! Траву несет. Я лодку который день все выше подтаскиваю, скоро на саму гору втащу!

И пошел, загребая ногами траву. Длинный, сутулый, жилистый. Спустился пониже, загремел цепью, закурил, и Грише, уловившему запах дыма, самому захотелось покурить, но нельзя: Миша не даст.

Миша добрался до второй рогатины, крючком подцепил леску, потянул на себя, тугую, как тетиву, и стал, подтягивая, обрывать налипшую траву.

— И здесь никого? — спросил разочарованно Гриша.

— И здесь никого, — откликнулся Миша. — Травы-то сколько! Лески не видно, весь продольник забило!

— Есть чего? — спросил из-за кустов Опокин.

— Шука с руку! — отозвался Миша.

— А-а! Я ж говорил, не будет ничего! Вода большая!

— Еще три продольника осталось, — сказал Гриша. — Давай и я посмотрю.

— Давай! — кивнул Миша. — Только не нырни, там берег крутой!

«С последнего начну», — подумал Гриша и пошел вдоль берега. Осока шелестела, будто нашептывала что-то, и, шепча, быстро касалась его сухими блестящими листьями.

— Там седун! — предупреждая крикнул Миша. — Ты осоку-то под себя дави, так не просядешь! — и снова стал распутывать продольник.

— Миш, — позвал из-за кустов Опокин, — подь сюда, пособи лодку вытащить, по глине, зараза, обратно сползает.

Гриша добрался до крайнего продольника и сразу увидел затопленную водой рогатинку с навитой толстой зеленой леской. Присел на корточки, как Миша, и, робея, потянул на себя леску

и тут же почувствовал, как отозвалось что-то легко и плавно и тоже потянулось к нему.

Гриша замер, прислушиваясь, искал глазами Мишу, а тот уж был далеко, брел, раздвигая плечами шелестящую осоку.

«А вот и сам вытащу, — решил Гриша, — вдруг рыбина! Вот Миша удивится! Что я — хуже?» И, замирая сердцем, потащил осторожно, перебирая леску. И тут же что-то тяжелое, огромное, напряглось в глубине, словно само прислушалось, и слабо, будто пробуя, дернулось в сторону, но даже в этой слабости Гриша почувствовал силу и испугался. Медленно, забывая даже дышать, Гриша снова потянул леску, стараясь не давать слабину, и стал подводить ближе и ближе. И неизвестная рыба откликнулась, будто провернулась вокруг себя в глубине, поднялась и, изгибаясь, ударила тяжелым хвостом. И Гриша увидел ее желтое брюхо.

— Ты чего там? — крикнул Миша.

— Да ничего, я сам, — отозвался Гриша вполголоса, отчего-то боясь крикнуть, будто вспугнуть.

Леска уже резала пальцы, натягиваясь струной, — так сопротивлялась эта рыбина. Вода у самого среза вдруг завернулась черной воронкой. Гриша ахнул, поскользнулся на глине и, падая, еще успел дернуть на себя, подсекая, влево и в сторону. Ударился лицом в размятую, размокшую осоку и, сползая ногами в реку, увидел ее.

Круглые желтые глаза рыбы уставились, не мигая на Гришу. Узкая, будто заточенная, голова дернулась к воде, и судорога пробежала по всему длинному, как веретено, шипастому телу. Кто-то кричал за его спиной, да только Гриша не слышал. Сердце билось как на разрыв. Зачарованный, обеспамятевший, он коснулся дрожащей рукой рыбы, провел по плотно сомкнутым щиткам и — оттолкнул от себя. И стерлядь, словно понимая, изогнулась, заслоненная Гришей, и сползла вместе с ним в реку. И тут, будто опомнившись и жалея, он жадно сунулся к ней руками, пытаясь ухватить, не дать уйти, не дать, ульнул с головой в заблаженную воду, да не достал. Вынырнул, хватая ртом воздух, выбрался на берег. Рука, разрезанная леской до крови, горела огнем. Гриша отер кровь о рубаху и посмотрел со страхом на подбежавшего Мишу.

— Ты чего? Упустил? Стерлядь была, да?

— Да, — поднял на него полные отчаянья глаза Гриша, — большая такая, сорвалась она, я не удержал!

— Да что ты не кричал-то? Ведь сак у меня был! Мы бы ее сакком подхватили! А ты?

— А я думал, сам справлюсь... — Грише стало обидно за себя и стыдно. Он отвернулся и стал смотреть на воду. Блестящая и сильная, как лава, река стремительно неслась мимо него, вперед, вперед, за поворот, за дебаркадер и отражала белые облака и почти бесцветное солнце.

Миша уселся рядом, выставил острые, испачканные глиной колени и тоже стал смотреть на воду.

— Что дома-то скажем?

— Не знаю, — тихо ответил Гриша, — скажем, поймали да упустили...

— Не поверят ведь...

— Ну и что... Пусть не верят.

— Вы чего, как побитые, сидите? Упустили! Ну, бывает! — сказал подошедший Опокин. — Было бы из-за чего убиваться! Так стерлядь была, Гриша?

— Стерлядь.

— Большая?

— Вот такая, — Гриша неуверенно развел руки. — Я ее на берег пластанул, а она извернулась — и в воду! Руки до сих пор дрожат.

— Это я виноват! Зря тебя, Мишка, позвал лодку вытаскивать. Так бы с рыбиной были. А ты, Гришуня, ладно, не горюй... опыта мало, заспешил, заторопился. Думаешь, мы не упустили рыбу? Миш, помнишь ли, в позапрошлом году, такую щуку проворонили! Помнишь?

— Помню, — улыбнулся Миша, откинулся на траву, заложил руки за голову и стал смотреть в синее небо. — А ведь все равно жалко!..

— Брось жалеть! Пойдем до меня. Я такую водовку нашел, пшеничную, советскую. У матушки в шкафу сто лет стояла. Гриш, пойдем? Ну, раз я виноват, мужики, так искуплю вину!

— Да брось, никто не виноват, — досадливо отмахнулся Миша и вдруг, повернувшись к Грише, спросил весело: — А чего, пойдем?

Дома им не поверили, ни во что не поверили: ни в упущенную рыбу, ни в досадное падение Гриши, ни в Опокина с лодкой. И Гриша распалился, крикнул зло:

— Сидите тут в своей трескотне! Видеть вас больше не могу! — и ушел курить на крылечко.

Татьяна его вышла к нему, села на ступеньку рядом, обтянула передничком коленки, заглянула в глаза, улыбаясь:

— Так вы вправду стерлядку поймали?

— Вправду! Чего врать-то? Только я во всем виноват! Сам захотел, без Мишки, вытащить, и вот — наказал себя: упустил! Дурак такой! Мишу расстроил. Он подумает теперь, чего такого растяпу на рыбалку брать?

— Ну, это со всяким бывает! Думаешь, он рыбу не упустил? Спроси-ка Шуру!

— Тань, — сказал Гриша, — нас Опокин, это, звал чаю попить...

— Знаем мы чай ваш! — засмеялась Татьяна. — Ну, сходите! Печку у него погляди. Он хорошо печки кладет. Тебе бы так!

— А я, что, плохо?

— Хорошо! Да только все равно, хоть один угол, да кривой будет! — и рассмеялась звонко. — Поди, а то передумаем!

Пока Гриша и Миша шагали в гости, над домом Витьки Опокина прошла туча, насорила густо дождем и убралась за реку, на Заболотье. Тополь все встряхивался и ронял на стол и в рюмки блестящие круглые капли. Клеенка сияла тонкой водой. В воде плавали размокшие крошки хлеба.

— Не хочу дома! — говорил Опокин, выплескивая из чашек дождевую воду. — Хочу, как батя, под топодем сидеть. За столом. Отсюда и реку видно, и улицу! Тополь-то, глядите, какой огромный! Батя посадил, мальчишкой еще был, сунул ветку, и вот какое дерево выросло! Мне тут подсказали — нашлись подсказчики! — срубить тополь, дескать, корни его под дом уйдут, дом будут раскачивать. Жизни не будет! Ерунда все это! Люблю я батин тополь, он над всем нашим двором, как батина рука. Прикрывает! Дышится легко. Да и все мужики в нашем роду, как этот тополь, длинные да жилистые. У нас родовое прозвище, знаете,

какое? Осоты! А я думаю, какие мы осоты? Мы — тополи! Ну, давайте, мужики, за рыбалку, за стерлядку вашу.

И они выпили пахнущую хлебом и дождем водку...

Мать Опокина, Марья Филипповна, вышла к столу, уселась с краешка сиротой и, присмотревшись, сказала:

— А, это Миша да Гриша! А я гадаю, кто пришел, кто смеется? Что за парнички? Плохо вижу-то... Витя, налей мне чаю, — и стала прищелкивать ладошкой по столу, ложечку искала. — Воды-то, воды-то налил! Что не затер?

— Это дождь, мама, с тополя каплет.

— Дождь... Вот и днем стал лить, а так ведь все только ночами. А мне не спится — дождь слушаю. Витя! Я птичку видела. Сверху-то у нее все черненькое-черненькое, а снизу белое. Кто это?

— Это сорока, мама! Пей чай!

И стал следить: Филипповна зачерпнула сахар и понесла ложечку мимо чашки, тогда он потянулся и быстро пододвинул чашку под сахарную струйку.

— Что, Витя, опять промазала?

— Нет, попала! — засмеялся Опокин. — Вот, так и живем!

— Давно по мне мерку надо сделать, а я все живу, все слепну...

Грише было неловко и больно смотреть на Марью Филипповну, и он не знал, что говорить и как себя вести. А Миша помог: смеясь, стал рассказывать, как они стерлядь упустили, как Гришуха в реке искупался, за рыбой нырял.

И Марья Филипповна тоже смеяться стала. Ее худенькие, заострившиеся плечики так и вздрагивали от смеха. И чашка в блюдце плескалась чаем.

— Нырял, Гриша, нырял?

— Нырял! — хохотал Гриша. — Я ее за хвост, а она мимо!

— Ой! — отсмеялась Марья Филипповна, утирая дрожащей рукой слезы. — А молочка хотите, из печки? Оно у меня припекло! Вкусное!..

Через час Марья Филипповна ушла — устала. И пусто стало, словно солнышко закатилось. Опокин вытряхнул из бутылки последние капли:

— Ну, на посошок? Больше, мужики, не буду.

Они выпили.

— Давно в море не ходил? — спросил Миша.

— Да два года, — опустил голову Опокин. — А на кого маму оставишь? Старенькая стала, слепенькая. Весь день на ощупь...

— На ощупь, — повторил Миша, вспоминая ложечку.

— Так что теперь я — речной капитан, командир большой деревянной лодки. Вот так вот, мужики... А что — море? Море снится. В ушах шумит, шумит. Выйдешь покурить ночью, а это не море шумит — трава под ветром... Печку пойдешь, Гриша, смотреть?

— Я завтра посмотрю, — сказал Гриша и добавил, — если можно?

— Да в любое время заходи!

У соседки они сыскали оденок, потому как хотелось еще продолженья и хорошего неспешного разговора. С лугов шел теплый, настоявшийся на травах ветер, задувал в рукава рубашек, ерошил волосы, сушил глаза. Река под угором блестела стеклом, а под самым берегом уже огустелась до глубокой вечерней синевы.

— Миш, — сказал виновато Гриша, — я стерлядку-то свою не упустил, я сам ее в воду спихнул. Мне жалко ее стало, понимаешь? Я ее глазища увидал, и внутри все перевернулось. Само собой как-то получилось...

— Да я догадался...

— А почему мне ничего не сказал?

— А подумал потом: да и ладно!

— Вот как... А у меня в голове тогда пронеслось: ты, Миша, говорил, что эта рыба такая древняя, и время ее на миллионы лет пошло. И я подумал, а вдруг нам попалась последняя рыбина, последняя — ты только представь! — на всей земле последняя, и больше таких не будет! Мы же месяц за ней охотились, и все впустую. И вот попалась. И она последняя!.. И я ее отпустил...

Миша усмехнулся, пожал плечами:

— А кто его знает, Гриша, как оно все на самом деле? Давай еще по стаканчику?

Водка была теплой. В пuzатом стекле отражалось вечернее солнце и тени высокой травы. Река золотилась. Лицо Миши,

смуглое от солнца, было задумчиво и спокойно. Над Заболотьем собирались привычные тучи. Кружилась чайка. Гриша привалился к плечу друга и вздохнул.

Где-то там, в глубокой, огустевшей от сумерек речной сини плыла навстречу солнцу его древняя, как мир, рыба...